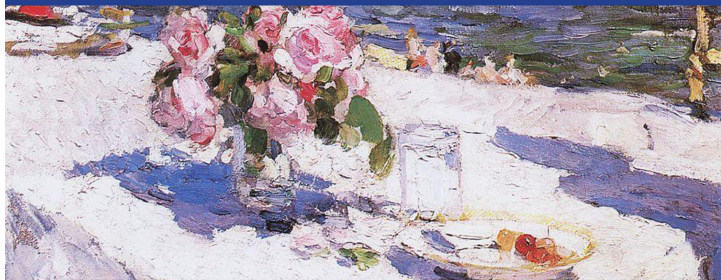




И.Грекова

Вдовый пароход

ФТМ



Ирина Грекова

Вдовий пароход

Текст предоставлен лицензиатом Директмедиа
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=429362
ISBN 978-5-4467-0184-1

Аннотация

"Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленой прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия..."

И. Грекова

Вдовий пароход

Мой муж был убит на фронте в самом начале войны. Мы оставались в Москве. «Мы» – это я, моя мать-старушка почти без ног и моя дочь Наташа четырнадцати лет. Какое-то оцепенение помешало мне действовать. Эвакуироваться вовремя мы не успели, а потом, в суматохе, было уже поздно. Впрочем, мне предложили одно место в машине, отъезжавшей на восток со двора незнакомого учреждения; все спешили, по воздуху летали документы из какого-то развееянного архива. Одно место? Разумеется, я отказалась. Потом заколебалась: «Отправить Наташу?» – и сразу же: «Нет, не отдам». Машина уехала. Обо всем этом я рассказала дома, сомневаясь в правильности своего решения. «Все верно, сказала мама, – погибать, так вместе». Она вообще бодрилась, была суха, подобранна, много вязала, шевеля спицами где-то у самого уха и летящими губами считая петли. Наташа, та вообще ничего не понимала, пела по утрам, завязывая банты перед зеркалом; меня ужасало, как легко она пережила смерть отца. Теперь я понимаю, что для нее вообще жизнь была нереальной, а тогда мне подчас хотелось ее ударить.

Одним словом, мы остались на месте, так было легче ничего не предпринимать. Жили как бы по-старому в нашем старом доме, в старой квартире с высокими закругленны-

ми окнами, выходявшими во двор, где мирно висело разноцветное белье и какая-то нежная провинциальность оплетала плющом балконы. Работы у меня не было. Я продавала на барахолке кое-какие вещи и тут же покупала или выменивала кое-какую еду. Осень шествовала вперед, уже по утрам руки покусывало морозом, плющ побагровел и усох. Жизнь формировалась, в городе восстанавливался порядок, пошатнувшийся было в дни поспешной эвакуации. Выдавали карточки, заботились о затемнении, мальчишки искали шпионов, сигналивших врагу с чердаков вспышками света. Я сама однажды видела такую вспышку, мигавшую ярко и загадочно. В магазинах иногда появлялись ненормированные продукты, странные, например крабы и шампанское. За ними выстраивались очереди. Люди посмеивались: за чем стоим? Одну такую очередь я выстояла, после этого мы всю ночь ели крабов и пили шампанское, а Наташа тренькала на гитаре. В этом ночном празднестве было что-то глубоко нечестивое. Время от времени налетали немецкие самолеты, их я не боялась, я вообще ничего не боялась, была как-то уверена, что худшее в нашей семье уже произошло и ничего больше произойти не может. К тому же налеты случались сравнительно редко и их последствия на огромном лице города были почти незаметны. Развалины убирались, и на их месте быстро разбивался сквер. В городе властвовали аэростаты заграждения – гигантские колбасы, днем ведомые под уздцы девушками в военной форме, а вечером поднимавшиеся сторожами в

чуткое небо. В их пузатом спокойствии было что-то надежное: спите, люди. Голос из репродуктора, привычно скандировавший знакомые слова: «Граждане, воздушная тревога», уже не пугал, мы под него не спеша одевались. Бомбоубежище было не в нашем доме, а в соседнем, через двор, мне все казалось, что мы занимаем в нем чье-то чужое место. А мама беспомощна, и таскать ее туда было мученьем. Да что долго объяснять! Так или иначе, в убежище мы ходить перестали.

Однажды поздно вечером после отбоя вновь объявили тревогу. Наташа подняла голову с подушки и сказала с досадой: «Мама, опять тревога? Ух как они мне надоели!» – а я ответила: «Ничего-ничего, спи, доченька». Это были последние слова, которые мы друг другу сказали, потому что как раз в эту ночь наш дом был разрушен бомбой. Мама и Наташа погибли, а я – нет. Как говорится, чудом уцелела. Чудом ли? Скорее это было одно из тех обратных чудес, чудес зла, автор которых – сам дьявол. У меня был перелом позвоночника, ноги и обеих рук. Как ни странно, я была в сознании. Помню тяжесть навалившегося кирпича, какую-то дверь, косо и страшно вставшую надо мной, мысль: «Мама? Наташа?» – мысль: «Конец». Когда меня вытаскивали, я кричала: «Осторожнее!» – потому что берегла руки.

Потом был промежуток полного беспамятства. Первым ощущением, которое я осознала, была непомерная тяжесть, именно тяжесть, а не боль. Мне представлялось, что это все еще был кирпич, который почему-то не разбирали. Только

много позже я поняла, что это был не кирпич, а гипс. Он окружал меня со всех сторон, я была в нем замурована, заключена. Кроме тяжести, я ничего не чувствовала. Я была слепа. Меня окружала темнота, не безлично серая, а огненно-черная, что могло означать одно: я слепа. В черноте иногда вспыхивали искры, звездообразные взрывы света. Они были подвижны и катились всегда в одну сторону. В какую-то минуту я раскрыла губы и сказала: «Мама? Наташа?» – но ничего не услышала. Я была глуха.

Так, в глухой темноте шло для меня время без времени, отмечаемое только сверканьем катящихся искр; они появлялись через регулярные промежутки, измерить которые я не могла, знала только, что они регулярны и образуют четкий рисунчатый ритм. Искры сами по себе были очень красивые, они чем-то напоминали живых существ, может быть морских звезд, по неумолимость, с какой они катились всегда в одну сторону, была не от живого мира.

Зрение вернулось ко мне раньше, чем слух. Через некоторое неопределенное, но очень долгое время я увидела свет. Он брезжил, колеблясь и как бы сомневаясь, в водянисто-серой комнате, похожей на аквариум, потому что в воздухе-воде над моим лицом висела большая белая рыба. Я открыла рот, чтобы сказать все то же: «Мама? Наташа?» – и опять ничего не услышала. Белая рыба встрепелулась, махнула хвостом и на большой скорости промчалась мимо. Вместо нее появилась другая, но оказалось, что это не рыба, а белая ко-

сынка медицинской сестры. Под косынкой на бледно-желтоватом, слегка отеком лице светились внимательным удивлением большие глаза. «Значит, я в больнице и не слепа», – подумала я и посмотрела вдоль себя в сторону ног. На койке лежало нечто белое, очень большое, что по занимаемому месту должно было быть мной, но не было, а ощущалось, как посторонняя тупая тяжесть. Мне вливали в рот что-то теплое, не имевшее вкуса.

Сознание возвращалось ко мне постепенно, но не равномерно, а толчками. Несколько позже света стал возникать звук, тоже искрами, взрывами, вначале болезненными. Однажды я открыла глаза и увидела, что возле меня сидит моя подруга и плачет. Плач был громкий и напоминал икание. «Мама? Наташа?» – спросила я и услышала собственный голос, резкий, как крик. Моя подруга ничего не ответила, но по ее лицу я поняла, что они погибли. Я была вся в гипсе, с ног до головы, и не могла ни биться, ни двигать руками, ни себя уничтожить. Опять мне что-то вливали в рот. Вернулись беспамятство, чернота. Кажется, я заклинала ее стать вечной. Сознание приходило, мигало и пропадало опять. Душевная боль не была постоянной, она возникала взрывами и тогда была нестерпима – казалось, что она разорвет изнутри гипс.

После того я еще год провела в больнице, и врачи боролись за мою ненужную мне жизнь. За этот год воля к смерти, очень сильная вначале, успела во мне погаснуть. Ее за-

менила ненависть к гипсу, желание уничтожить уже не себя, а гипс. Потом стал появляться, вспыхивая и опять пропадая, интерес к законному миру. Он был доступен вначале лишь боковому зрению, но чувствовалось, что он велик и прекрасен. Потом, когда мне освободили шейные позвонки и я уже могла поворачивать голову, законный мир открылся во всю ширину и оказался в самом деле велик и прекрасен. Там шевелились ветки, падал дождь, гуляли голуби. Все это было свежо и ярко, много ярче, чем и обычной жизни. Я, например, никогда не видела таких синих голубей. В дальнейшем эта яркость слегка померкла, но в какой-то мере сохранилась и до сих пор. Иногда меня поражает, скажем, яркость дождя.

Итак, я уже могла поворачивать голову. Теперь я уже хотела поправиться, если это возможно. Оказалось, что это возможно. В один прекрасный, насквозь солнечный день сплошной гипс заменили на облегченный, ликующе-легкий, почти невесомый. В этот день я брталась с мухами, невесомо летавшими по солнечной палате. Прошло еще время, и вот я уже могла сидеть на койке, владеть руками, есть. Еда, скудная в те времена, занимала в жизни людей большое место, что трудно понять тем, кто не голодал. Принятие пищи превращалось почти в обряд. Я удивлялась, что с трепетом жду раздачи обеда, но трепет был. Шаркали шаги, гремела посуда, появлялась санитарка в разношенных тапочках, с янтарными голыми пятками, начиналась раздача. Я ела. Потом я спала — долго, запоем, как спят грудные.

Когда меня выписывали, оказалось, что подвижность рук частично утрачена, а это означало еще один конец – по профессии я пианистка. Впрочем, этот конец мало значил рядом с другими. Пожалуй, я не была по-настоящему талантлива. От таланта мне досталась только свирепая совесть, заставлявшая меня без конца упражняться, днем – на рояле, ночью – впустую, барабанив пальцами по колену, и яростное недовольство собой, а этого мало. Мне дали третью группу инвалидности и выпустили в жизнь. Помню, как я ее встретила, выйдя из ворот больницы, как стояла, бестолково глотая воздух, убитая солнечным светом, а моя подруга держала меня под локоть.

Первые недели я прожила у нее. Но это не могло продолжаться вечно. Я стала хлопотать о жилплощади. «Зачем тебе это нужно? – говорила подруга. – Оставайся, живи у меня». Нет, этого я не могла. Стыдно сказать, она меня раздражала. Она впала в какой-то экстаз самопожертвования, была говорлива, вздорна, много плакала и словно требовала того же и от меня. Но я не могла плакать – то, что во мне было, не сводилось к слезам... А ее деспотические заботы! От них можно было с ума сойти. Как, например, она кричала на меня в подлинном гневе за то, что я вышла на улицу без шарфа. Как будто он что-нибудь значил, шарф. Как будто сама я что-нибудь значила. Как будто что-нибудь значили мы все, бесполезные перед лицом того огромного, что происходило в мире... Радио она не слушала, газет не читала,

вся погрузилась в испуганную суетню. А когда мы обедали, она внимательно делила еду на неравные доли, всегда стараясь подсунуть мне ту, что побольше, а я возражала, и начиналось смехотворное перебрасывание тарелками... Нет, мне надо было иметь свой угол, свои четыре стены, чтобы жить.

В райсовете довольно скоро мне выделили комнату, освободившуюся то ли за выездом, то ли за смертью жильцов. Комната оказалась небольшая, еще уменьшенная своей стройной продолговатостью, с высоким, смугло задымленным потолком. Окно выходило на задний двор, где стояли рядами голубые мусорные баки, а на их фоне шествовал, осеня себя хвостом как флагом, ярко-оранжевый кот. Все это увиделось мне прекрасным, особенно закатный солнечный свет на огненной шерсти кота. От прежних жильцов в комнате оставалась кровать, брошенная, очевидно, за непригодностью: сетка прохудилась и кое-где была грубо стянута веревками. Я присела на кровать, сетка подалась, заскрипела. Железная полоса под коленями была восхитительно холодная. Да, мне все это понравилось, хорошо бы и на будущее сохранить эту пустоту, простоту и яркость. Я не хотела обзаводиться вещами. Говорят, корабли, обрастая ракушками, теряют ход. Я не хотела терять ход, хотя идти мне было некуда. И все же какой-то легкий ход мерещился мне как благо. Кстати, нелюбовь к вещам осталась у меня навсегда.

Моя подруга дала мне самое необходимое: стол, стул, матрас, одеяло, кое-что из посуды, из носильных вещей. Она хо-

тела бы дать больше, всю меня осыпать подарками, но я не брала. Помню нелепый спор из-за приземистого предмета, который она называла козеткой, — мне так же мало хотелось выпустить его в свою комнату, как паршивого пса. Подруга настаивала, я решительно сказала: «Лучше умру», — и опять она плакала, а я нет. Теперь я жалею, что не взяла.

Нам предстояла разлука: вскоре моя подруга должна была уехать к замужней дочери куда-то в Сибирь. Она страшилась отъезда и, говоря о нем, снова и много плакала, а я была черства. Мне бы понять ее тревогу, ее усталость, ее предчувствия... Слезы текли по ее маленьким, похудевшим щекам. Записывая для меня свой адрес, она надела очки, и по ее постаревшему лицу я поняла, что обе мы уже немолоды. На прощанье она сунула мне пачечку денег и сказала: «Отдашь, когда сможешь». Этих денег я ей так и не вернула, потому что вскоре она умерла. Я не знаю, где ее могила, растут ли на ней цветы и какие. Я пыталась выслать свой долг ее дочери, но перевод вернулся с пометкой: «Адресат выбыл». Этот невозвращенный долг до сих пор меня мучит рядом с другими долгами и винами, которым нет числа.

Моя подруга уехала, и я осталась совсем одна. Ни родных (все умерли), ни товарищей по работе (все разъехались), ни даже соседей по дому (дом разрушен, и на его месте разбит сквер). Прежде подпирали заботы: свои заботы о ком-то и чьи-то заботы о тебе. Слово «беззаботный» обычно сопровождает представление о счастье. А на самом деле до че-

го неприятна, неприкаянна жизнь без забот! Прошло много времени, пока я к ней приспособилась. Первое время я даже не могла готовить еду: мне казалось диким кормить самое себя.

Деньги, которые мне оставила моя подруга, подходили к концу. Пора было поступать на работу. О прежней профессии, конечно, и думать было нечего – с этим я примирилась безропотно, кто знает, может быть, с тайной радостью, что больше не надо изводиться отсутствием таланта... Мне было все равно, где работать, но что я могла, что умела? Для физической работы я не годилась. Для умственной? Тоже скорей всего нет...

– Какое у вас образование? – спрашивали меня.

– Консерватория... – отвечала я, стыдясь. – По классу рояля.

– Играть можете?

– Нет.

– Что же с вами делать, товарищ? Подумаем. Заходите еще.

Они думали, а я заходила еще и еще, но работы не было. Я была как просительница, кланчащая на бедность. После отказа (а это всегда был отказ, хотя и отложенный) я дрожащими руками собирала свои вещи: мешочек с хлебом или картошкой, суковатую палку-клюку, сумочку со справками, заменявшими мне документы. Нередко справки падали на пол, я их собирала, страдая от собственного калечества и жало-

сти окружающих, иногда выражавшейся в том, что они начинали сидя суетиться и двигать руками. Потом я заматывалась шалью и уходила не оборачиваясь, боясь, как бы мне не предложили денег за нищий взгляд.

Так прошло несколько месяцев. Я начала уже терять надежду, как вдруг мне предложили работу! Да, настоящую работу, музыкальным воспитателем в Дом ребенка.

– А что такое Дом ребенка?

Мне объяснили: это вроде детского дома, только для самых маленьких, от рождения до трех лет. Говоря популярно, вроде яслей.

«Популярно говорил» мой работодатель, инспектор по художественному воспитанию, огромный детина, рыжий до ужаса, с рыжими волосами в ноздрях. У него было дел выше головы, на столе сотни бумажек и разные дыроколы. Говоря со мной, он ритмично постукивал карандашом.

– Ну как? Все ясно?

Я колебалась. Предложение испугало меня, всколыхнуло всю бездну моей неуверенности в себе. Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленой прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия...

А живые существа: кошки, голуби, дети со своей занятостью и тайной! Не надо это понимать так, будто я забыла свое горе. Нет, горе было во мне, горе было свято, но жизнь привлекала меня безмерно... Карандаш стукнул весьма решительно.

– Жду ответа. Устраивает это вас, товарищ Флерова?

Стук означал: не задерживай. Даже он, этот рыжий, был мне интересен.

– Устраивает, но... боюсь, не справлюсь.

– Пустяки! «Чижик-пыжик, где ты был?» – пропел он фистулой. – Ну как? Сыграете «Чижика»?

Я поглядела на руки, пошевелила пальцами. Пальцы двигались.

– Пожалуй, сыграю.

– Тогда заметано. Даем направление в Дом ребенка. А вы не тушуйтесь. Повеселее, повеселее, мамаша!

Кажется, впервые в жизни меня назвали мамашей, а было мне тогда неполных сорок лет. Потом называли по-всякому – и мамашей, и бабушкой, и бабусей. Даже бабой-ягой. Ходила я с палочкой вроде клюки, спина согнута, мальчишки бегали за мной и кричали:

– Баба-яга, костяная нога!

Ко всему привыкаешь.

Дом ребенка, куда мне дали направление, помещался в окраинном переулке, в одном из тех, где Москва перестает быть Москвой, где вылезает из-под ее облика глубокая, глухая провинция. Там стоят, развесив ветви, старые, дуп-

листые деревья, под ними ютятся покосившиеся пятнистые домики, серо-лиловые, как всякая обветренная, мытая дождями древесина. На окнах домиков данью времени кое-где сохранились крестообразные бумажные наклейки – наивное средство, будто бы сохранявшее стекла во время налетов, – ими очень увлекались в начале войны. А сейчас было начало весны – слабое, солнечное начало; пахло землей, мокрыми ветками, будущим. Я шла переулком, опираясь на свою клюку, и меня радовало, как гибко и свободно идет от колонки женщина с ведрами, как плавно похаживает на ее плече коромысло, роняя светлые полновесные капли. На деревьях целым кагалом картаво орали какие-то птицы, должно быть грачи. Нищая, весенняя прелесть домиков, бумажных крестов, грачиных гнезд трогала надеждой, обещанием жить. Радиорупор на углу передавал что-то бодрое о положении на фронтах; под ним стоял, задрав голову, старик в обтрепанных валенках, и его борода сквозила на солнце.

Дом ребенка, в конце переулка, за высоким забором, тоже весь насторожился в ожидании жизни. В саду меж подтаявших, рябо почерневших сугробов парами ходили по дорожкам под присмотром воспитательницы очень маленькие, очень тихие дети. Они были одинаково скромно и бедно одеты в казенные ватнички. Дом был каменный, двухэтажный, в кольце террас, сплошь затканых плющом, голым, усохшим за зиму, но жадно желающим жить. Когда я подходила к дому, меня поразил тихий хор маленьких плачущих голосов,

доносившийся из одного крыла сквозь раскрытые форточки. Женщина в белом халате с бадейкой в руке вышла из дома. Я спросила: «Что это?» – разумея тихий хор.

– Грудные плачут, – ответила она. – Ну, это так говорится – грудные, а где ихние груди? Матерей нет – кто погиб, кто бросил. Наши все искусственники, на смесях растут. Рахит замучил, но ничего, боремся. А вам что надо, мамаша?

У нее было нежное, полное, желтоглазое лицо, чуть оттененное пушком у выпуклых губ.

– Мне заведующую, – сказала я, – меня, знаете, сюда направили на работу.

Женщина засмеялась и махнула бадейкой, указывая, куда мне идти. Это могло означать: тоже, работничков посылают... «Нет, не возьмут, – подумала я, – кому я тут нужна со своим „Чижиком“?»

В сенях стояли батареейкой бутылочки с сероватым молоком, аккуратно заткнутые ватными тампонами. Дверь в кабинет заведующей была открыта. Я вошла. Заведующая, очень немолодая, со складками заботы на желтом лице, считала на счетах. Я положила ей на стол свое направление.

– Сейчас, – сказала она, продолжая считать. – Не десять рук. Бухгалтер больна. А я здорова?

Мне было трудно стоять, я села. Щелк-щелк – говорили счеты. В окно светило солнце. Тонкая разрезная тень от плюща осторожно двигалась по столу, по желтым рукам заведующей. Хора грудных отсюда почти не было слышно, он зву-

чал еле-еле, слабой музыкой жалобы, нотой печали. «Нет, не возьмут, – снова подумала я, – слишком здесь хорошо».

Заведующая кончила считать, отодвинула счета и взяла мое направление.

– Арифметику знаете?

– Плохо, – ответила я, спешно припоминая таблицу умножения.

– Вот как и я. Дважды два еще знаю, а более высшего – нет. Мне грамотные сотрудники ох как нужны. Рабочие руки требуются. А кого присылают? Только что не в гробу.

Я встала, собираясь уйти. Мешочек, сумочка...

– Постой, не лотошись! – прикрикнула она. – Я не со зла, это у меня плач души. Надо же мне поделиться! Не делишься, не делишься – и лопнешь.

Я молчала.

– В мое положение тоже надо войти. Нянек нет. Нюрка на завод возмечтала, не сидится ей, штопор в заднице. Слесарей нет, ведра все прохудились. Молока не допросишься, суют суфле. А от суфле какой рост? Я им говорю: «Дети, говорю, расти им надо». А они: «У всех трудности». Подавись они своими трудностями, тьфу! Все одна, кругом одна, помощников нет. С ума сойду, прямо в психическую, под душ Шарко.

Я молчала. Все правда, мне остается уйти.

– Не входишь в положение. Ну ладно, возьму. Ставка есть. Не козу же брать на эту ставку.

Так меня приняли в Дом ребенка на ставку музыкального воспитателя.

Странная была эта должность, эта ставка. И почему она существовала? Загадка. Казалось бы, рассуждая по разуму – война, всего не хватает, мало молока, мало хлеба, а тут – музыка. И вот поди ж ты, тоненький культурный ручеек, кем-то и когда-то задуманный, струился себе и струился, помогал жить... В Доме ребенка имелся даже рояль – старенький, глубоко расстроенный, но со следами чистого, благородного тона. Я взялась за работу. Первым делом надо было позвать настройщика. По этому поводу мне пришлось выдержать баталию с нашей заведующей Евлампией Захаровной. По ее мнению, звук был очень даже хорош. Но я подавила ее авторитетом, сославшись на свое специальное образование (вообще-то я редко о нем вспоминала)... Отыскался и настройщик, замшелый старик, очень словоохотливый, который все время спрашивал: «Вы меня узнаете?» – разумея под этим: вы меня понимаете? «Узнать» его было довольно трудно по запутанности его мыслей, но одно было ясно: за работу он требовал бутылку. Опять бой с Евлампией Захаровной, которая вместо бутылки давала чекушку, то есть четверть литра. Старик был непреклонен, и через неделю заведующая сдалась. Откуда она достала бутылку – неизвестно. Эта женщина была хозяйственным гением, могла что угодно добыть, обменять, выклянчить. «Если б знать арифметику, я бы далеко пошла!» Одним словом, рояль был настроен. Я се-

ла за него со страхом. Руки, руки. Но они кое-как слушались. Я сыграла несколько пьесок из «Детского альбома» Чайковского. Когда-то, очень давно, я их разучивала, сидя у рояля с бантом в косе, мечтая о воле, о дворе, о «казаках-разбойниках», а меня заставляли играть, заставляли... Тогда я ненавидела музыку, словно предчувствовала, что ничего из меня не выйдет... «Болеть куклы», «Похороны куклы»...

– Ничего, – сказала заведующая, – бывает хуже. Все-таки инвалид.

– А «Катюшу» можете? – спросила Нюра, та самая полная техничка, которая тогда, в первый день, махнула на меня бадейкой. – Я «Катюшу» сильно обожаю. Услышу – и плакать.

Я кое-как по слуху подобрала «Катюшу». Нюра заплакала.

– Все-таки что значит образование, – сказала она, кончив плакать. – Рожу сына – обязательно в консерваторию отдам.

Так началась моя вторая музыкальная жизнь. В каком-то смысле она была удачнее, чем первая. Понемногу, день ото дня я становилась бойчее, начинала дерзать. Я не только играла – я пела! Детские песенки я извлекала все оттуда же, из глубин своего детства с бантом в косе. Вот эту песенку пела мне няня, эту – мама...

Никогда я не думала, что маленьким детям так нужна музыка! Они впитывали ее, как сухая земля пьет воду. Даже самые маленькие, грудные. Когда был музыкальный час для грудников, их высокие белые крашенные железные кровати,

плоско застеленные, без подушек, вкатывали в зальце, где был рояль. Грудные плакали, жалуясь на судьбу. Но как только я начинала играть, они замолкали и слушали. Их молочно-синие глаза глядели неопределенно-загадочно, наблюдая что-то недоступное людям, находящееся, может быть, даже у них за затылком. А некоторые поднимали крохотные ручки с розовыми лучиками пальцев и играли ими как будто в такт. Те, что постарше, ползунки, понимали еще больше. Они стояли в своих манежиках на слабых, гнущихся, еще не ходящих ножках и, цепляясь за перильца, так и тянулись к песне. Лучше всего было, когда они все вместе начинали петь, робко и нестройно гудя. Это ползунковое пение всегда трогало меня – не скажу до слез, слез у меня не было, но до раздражающей внутренней дрожи. А старшие, ходячие – года по полтора-два, – как они жадно толпились вокруг рояля! Дети были бледненькие, рахитичные, ножки колесиком, по сравнению с домашними малоразвитые. Многие из них не умели говорить, объяснялись знаками и птичьим щебетом... Но тут они оживлялись, повизгивали, каждый норовил стать поближе, уцепиться за мое платье. А какой-нибудь один – самый смелый, самый взрослый – дотягивался до рояля и трогал клавишу пальцем. Возникал звук. «Музыка», – говорила я, и они лепетали за мной трудное слово. Для них музыка была чудом, да она и была чудом. Рояль кряхтел, мои ограниченно подвижные руки двигались непротивно, и все же это была музыка, как будто играла не я, а она сама, вели-

кодушно прощая мою неумелость...

В Доме ребенка понемногу ко мне привыкли. Иногда я помогала Евлампии Захаровне с арифметикой. Хороши были мы обе! А иногда, оставаясь после работы, я аккомпанировала няням, поварихам, а они пели. Положительно хороший голос был у Нюры, не голос, а колокол. В хоре он не просто выделялся, а царил, создавая другим богатырский фон. «Вам бы учиться, Нюра!» Она только рукой махала. Она мечтала пойти на фронт, в крайнем случае – на оборонный завод, но оставалась, жалея детей и заведующую, которую терпеть не могла, но все же любила. У этой Нюры был вообще парадоксальный характер. Страстная законность и презрение к закону. Она не была замужем, но решение родить сына было в ней твердо: «Познакомлюсь и рожу».

В общем, своей работой я была довольна. Зарплата моя была маленькая, меньше, чем у технички, но мне хватало. По должности мне полагалось питание, и я возвращалась домой с баночкой супа.

Домой...

Работа работой, а у человека должен быть дом, куда он возвращается, снимает рабочее платье, надевает халат, живет.

Дом, куда меня поселили, – большой и мрачный, шести-этажный, построенный где-то в начале века с потугами на стиль модерн, весь извилистый, с лилиями по фасаду. Теперь он был запущен и одичал, облупился; лифт не ходил, шту-

катурка отваливалась, во дворе валялись обломки лилий. В квартире, кроме моей, было еще четыре комнаты: в трех жили три женщины, по одной на комнату, а четвертая, запертая, пока пустовала – ее хозяева, Громы Федор и Анфиса, были на фронте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.